

Судьба грамотея, а также карьера Михалки Сергеева от Ивана Калиты до снятия седьмой печати

Сказочная быль с превращениями и перевоплощениями

Памяти Константина Богатырева

Было или не было, скорее, было, чем не было, потому что кабы не было – откуда бы взялось?

В давние времена было насупротив Кремля через Москва-реку превеликое болото. И по сей день, понеже и усохло вконец, осталось оно достопамятно, и местность эта в его честь Болотной площадью зовется. А в те времена, о коих речь, обитало в том болоте трехголовое чудовище. Впрочем, не ахти какое чудовище, а простой змей, но премерзкий и с тремя головами. И взирал он всеми своими очами, исполненными алчности и злобы, через Москву-реку на Кремль. И прикидывал, как бы ему туда вползти, да не просто так, а чтоб заделаться в той Москве лицом важным и наслаждаться богатством и почетом.

А ведь Москва-то была еще махонькая, и Кремль неказистый, бревенчатый, и, как в песне поется, никто еще на Руси не знал – не ведал, что Москве царством слыти, что Москве государством быти, а вот змей болотный трехголовый за деньгами и почестями стремился именно туда. А все потому, что обладал он необыкновенным талантом – держать жало по ветру – и приобрел этот талант не воровством и не за деньги, а честно получил в наследство от родного дедушки.

Да, приходился наш гад родным внуком тому самому змею, что укусил Вещего Олега. И не по злобе укусил, а из чистого политического расчета. Олег бо Вещий мудростью своей, на взгляд преемников своих, чрезмерно век свой удлинил. Учужал это змеиный дед и решил выслужиться перед неизбежно грядущей новой властью. Но обернулся его расчет просчетом. Изрубили его в куски верные Олеговы дружинники. Зато внучек в наследство получил не только дедов талант, но и опыт поучительный – не жалить князей ни при каких обстоятельствах, а токмо ползать пред ними на брюхе да пол вылизывать.

И поскольку внучек держал по ветру не одно, а целых три жала, то взлелеял он в себе тройную уверенность, что за бревенчатыми кремлевскими стенами открывается для него перспектива самая что ни на есть грандиозная, и решил во что бы то ни стало туда проползти.

Как и когда осуществил он это – вплавь ли, зимой ли по льду, летом ли по легким мосткам – так и осталось невыясненным. Но оказался он в той Москве, и пришлось ему на первых порах несладко. Не зря же говорят про москвичей, что у них вечно слово с делом расходится. Любят говорить: одна голова хорошо, а две

лучше, а как завидят кого двух- или трехголового, так сразу исполняются к нему отвращением.

Вот, к примеру, двухголовый орел. Ну, конечно, птичкой Божьей его никак не назовешь. Но он же сроду не говорил, что он Божья птичка. Да и что вообще мог говорить, когда он не живой, а на картинке нарисованный? Служил тот орел спокон веку византийским гербом. Но вот в один прекрасный день остались от той Византии только пух да перья, да еще одна принцесса-бесприданница. Замуж ее, понятно, никто в целом мире брать не хотел. Но москвичи – они и есть москвичи. Во всех своих бедах всегда иностранцев винят, а при этом нет для них ничего милее, чем на иностранцах жениться. Вот и оказалась эта бесприданная принцесса женой московского князя, а картинку с орлом с собой прихватила, чтобы было что предъявить. Так москвичи только на него взглянули – давай креститься и плевать. Князь его от греха подальше в чулане запер. И выпустили его лишь тогда, когда столица от москвичей к петербуржцам перешла. Но когда москвичи вновь к себе столицу перевели, то уж так отделали беднягу двухголового своим серпом и молотом! Хорошо еще, что был он не живой, а на картинке нарисованный.

Понятное дело, что живого змея, да еще трехголового, встретили москвичи хуже некуда: крестятся, да плюются, да еще камнем швырнуть норовят. А он все ползает и ползает, глазам и ушам своим не верит, а верит только глубинному чутью своему, дару бесценному, от деда унаследованному. Наконец догадался он втянуть поглубже лишние головы – получилась вроде бы одноголовая змея, ну, то ли горло у нее распухло, то ли подавилась чем-то – кто эту мерзость рассматривать станет. Но все же

москвичи к нему заметно подобтели, они вообще к мерзости снисходительны, а вскоре на него прямо-таки благодать снизошла, и не в чьем-то там лице, а в лице самого княжьего повара.

Вышел повар как-то раз на задний двор, где скотину режут да разделывают, и видит – ползает по земле какая-то тварь и всю пролитую кровь до капельки слизывает. Повар поначалу глаза вытаращил, а потом быстренько смекнул, что ему от незваного гостя прямая выгода. И остался тот змей при княжей кухне к обоюдному их с поваром удовольствию.

Конечно, не обошлось без нареканий. Но сумел повар к нарекателям своим должный подход найти:

– Негоже, братие, – рек повар, – едину мерзость видеть там, где явная полезность усматривается. Зане полезность с необходимостью сопрягается, а из необходимости закономерность проистекает.

Знал, подлец, с кем дело имеет. Москвичи что угодно глотать станут, если это «что угодно» будет научно обосновано.

Вот, стало быть, живет змей на княжей скотобойне, в довольстве купается, кровью допьяна упивается, научное обоснование имеет, а все не то. Другого ему хотелось, когда в Москву эту полз. А тут еще отыскался на него лютый супротивник.

Был он грамотей из грамотеев, и мог бы жить себе припеваючи, грамотейством своим похваляясь, – так нет, скучно ему это казалось. Зато не скучно было ему совать всюду свой нос и выискивать, где правда, а где неправда. И усумнился он в необходимости и закономерности ползучего гада на княжем дворе и не побрезговал очи свои к самой змеиной морде приблизить. Приблизил – да и отпрянул с воплем великим, ибо глянули на него

не одна, а целых три пары змеиных глаз.

Понял змей, что он разоблачен. Все и вся простят на Москве, а трехголовость – ни в какую. И выиграла в нем ненависть, какую только может испытать трехголовый змей к московскому грамотею-правдолюбцу. Выпустил он все три своих смертоносных жала, и пал грамотей бездыханным. А змей пополз восвояси, в болото свое родимое, не дожидаясь, пока добрые христиане хватятся и учинят над ним расправу.

Ну вот, значит, ползет гадюка в свое болото, повар над грамотеевым телом вопит: «Прости нас! Прости нас!» (это у москвичей такой обычай, говорить «нас» вместо «меня» в подобных случаях), а душа грамотея тем временем во ад погружается. И нечего тому удивляться. Человек, конечно, был хороший, против этого не поспоришь, но человек человеком, а грехи грехами. Женскому полу уважение оказывал больше, чем оный пол того заслуживает – уже грех. А еще хуже обстояло у него дело с постами. Как пост – такой на него аппетит нападает, хоть караул кричи. Его бранят: опомнись, мол, о душе, своей помысли. А он отвечает, на то и грамотей:

– Главное ближнему вреда не причинять. А с самим собой, что хочу, то и делаю!

Вот она, грамотность, до чего доводит! Ну еще мелких грешков, смотришь, тоже кучка набралась – человеческая жизнь сплошное искушение, а там у них все по-честному. Потом еще свой процент с первородного греха получил. Одним словом, суммировали все это и начислили ему, голубчику, две тысячи восемьсот четырнадцать лет. Кому-нибудь многовато покажется, но по сравнению с вечностью это все равно, что на пятнадцать суток

сесть.

Ну да черт с ним, с грамотеем, пушай он пока в аду привыкает, а мы займемся болотным нашим гадом.

Лежит он в своей норе, в том самом месте, где сейчас в Болотную улицу Фадеевский переулок упирается, в себя приходит после поражения и размышляет. Долго так размышлял и пришел к выводу, что в том виде, в каком он есть – что с тремя головами, что с одной, – в Москве ему делать нечего. Хочешь – не хочешь, надо человеческое обличье принимать. Потом еще поразмышлял и понял, что в одиночку он с поставленной задачей не справится. И пополз он к ведьме, к самой в наших краях знаменитой и потому самой дорогостоящей.

Она как его увидела, ужасно обрадовалась. Очень ей чешуя нужна была змеиная для колдовских снадобий. Змей покорно подставил спину и через какое-то время она у него стала, как шелковая.

– Это ведь только за вход, – думал змей, содрогаюсь, – сколько же она за самую помогу возьмет!

– Ничего я с тебя не возьму, – отвечала ведьма на его мысли, аккуратно укладывая чешую ножичком в специальный горшочек. – Не получится у нас сейчас ничего. Надо тебе сначала крови досьяна напиться, так чтоб из ноздрей потекла, а потом уже решим, что делать, и о цене договоримся.

– Да я уж столько крови выпил, – заныл змей.

– Не той, – покачала головой ведьма. – Тут человекья кровь нужна. А сейчас из тебя разве что собака получится.

Стал он ее изо всех сил упрашивать, уж больно ему не терпелось обратно в Москву. Ну и сдалась ведьма, попробовали

они. И что же получилось? Конечно же, собака и, тьфу ты пропасть, опять трехголовая. А он уже к этому делу привычный: втянул две головы, получилась собака с бычьей шеей, премерзкая, надо сказать, да ему некогда было себя в зеркале разглядывать – в Москву со всех ног помчался.

А в Москве что творится? Что ни год, новая власть наступает: то Василий княжит, то дядюшка его Юрий, то Косой, то Шемяка, потом опять Василий – и все по новой. Золотое времечко для змеиной души, но только если она в человеческом теле. Ведь как он старался, премерзкий тот пес: перед каждой властью на брюхе ползал, хвостом вилял, сапоги лизал – все без толку. А уж когда начали князья глаза друг другу выкальвать, на него и вовсе смотреть стало некому. И тут во второй раз полный облом приключился.

Один москвич напился пьяным и залез на колокольню. Москвичи и трезвые нередко ввысь воспаряют, а уж про пьяных и говорить нечего. Ну вот, залез он на колокольню и хочет дальше лезть. Само собой, на землю сверзнулся. Говорят, жив остался, но крови из него вытекла целая лужа. Все к нему бросились, охают, ахают, смекают, как бы его поднять да унести, не рассыпавши. А пес тот притаился и ждет, пока все уйдут, а как ушли, кинулся ту кровь лакать. И до того она ему по вкусу пришлась, что потаенные головы не утерпели, высунулись – и туда же.

И тут услышал он за собой крик:

– Смотрите, трехголовый пес!

Поворотились головы и видят: движутся к тому месту целой гурьбой – кто бы вы думали? – самые, что ни на есть, грамотеи, человек десять. Как вскочил трехголовый пес, да как помчался на

свое болото, аж пыль столбом поднялась. Ну а грамотей московские – народ нерасторопный, пока искали, чем бы в него запустить, его и след простыл.

Лежит чудище трехголовое в своей норе и все сотрясается. Досадует, что его второй поход московский столь бесславно завершился. Но еще больше распирает его от ненависти к тем самым грамотеям.

– Ну погодите, – шипел гад. – Пробьет мой час. Напыюсь я на Москве кровушки. И не чьей-нибудь, а вашей, грамотейской. Отсижусь, перетерплю, а свое все равно возьму.

Шипел-шипел, сидел-отсиживался, и в один распрекрасный день опять в Москву отправился. Не обмануло его на этот раз чутье – врожденный дар бесценный. Оно и раньше его не так уж и обманывало, место-то он учуял правильно, да вот со временем поторопился. А теперь и время пришло, что надо. Не ему одному, многим это время запомнилось, потому и название научное получило – опричнина. Кровь лилась не ручьями, а реками. Множество гадов той кровью допьяна упилось и большими людьми вследствие этого соделалось.

Приползает опять трехголовый змей замоскворецкий к той самой ведьме. Весь раздулся от крови, говорит, чавкая:

– Выполнил я твое условие. Давай теперь о цене поговорим.

Она ему и отвечает без дураков:

– Стакан жемчуга отборного из сиротских слез.

Змей аж по земле покатился:

– Да где я его возьму?

– Возьмешь, где все берут, – отрезала ведьма. – Не прикидывайся. Ты зачем в люди лезешь? Чтобы хлеб насущный в поте лица добывать?

Змей жалобно заскулил.

– Нет. Богатством и почестями наслаждаться хочешь. – Все три головы согласно закивали. – А богатство и почести всегда чужой кровью и слезами покупаются. И уж если исконным человекам без этого не обойтись, то тебе и подавно... – тут она произнесла слово, какого змей отродясь не слыхивал, и к нему прибавила «... болотный».

Змей подумал немножко, вспомнил, как в прошлый раз переспорил ее и что из этого вышло, и решил покориться.

И пополз змей по всей земной шире, и увидел, что его задача еще труднее, чем думалось ему поначалу. Льются слезы людские день-деньской, а еще пуще – ночью, в жемчуг сворачиваются, да ловцов и искателей того жемчуга – видимо-невидимо. И хотя каждый первый на земле – сирота, все же отборный жемчуг только из самых чистых, из детских слез получается. Ну кто же к таким сокровищам дрянь болотную подпустит, чтоб хуже не сказать?

Ползал-ползал змей, аж брюхо задубело, чешуя потускнела да повылазила, а набралась у него только горстка мелочи, да такой невзрачной. Зашвырнул он ее в болото, забился в свою нору, лежит, думает. Столько сил и времени потратил, а ни с чем остался. И только дар бесценный наследственный при нем. И говорит он с ним изнутри, и подсказывает, что не все еще потеряно, и надобно потерпеть и выждать, и пробьет его час, и пробьет с таким громом, что у всех от мала до велика звон в ушах стоять будет до самого Судного дня.

И вот однажды вечерком приползает он к ведьме, ничего с собой не имея, кроме заманчивого предложения. А она уж и ждать его забыла – и без него работы по горло.

Говорит ей змей, и сильно так, с убеждением:

– Хочу заключить с тобой договор сроком на тридцать шесть лет и шесть месяцев. По тридцать седьмому году обязуюсь доставить тебе вместо одного – два стакана жемчуга отборного из чистых детских слез. От тебя же прошу, чтоб поверила мне в долг и помогла получить нужное обличье незамедлительно.

Ведьма ахнула – и согласилась.

Стала она колдовать. И произошли тут громы и молнии великие (а дело было в феврале), и земля страшно затряслась, так что в Петербурге двухголовые орлы со стен сорвались и царь с трона свалился, а Москва опять столицей сделалась.

А на месте змея поганого явился добрый молодец Михалка свет Сергеев, красивый, стройный, статный – и на тебе! – опять с тремя головами. Ведьма аж руками всплеснула.

А он ни чуточки не растерялся, потому что знал, что коли его время пришло, то ничто ему уже помешать не сможет. И тут как раз мода подспела на пиджаки с большими ватными плечами. Надел он пиджак, упибал под него боковые головы поменьше, а среднюю, большую и красивую, гордо поднял и помчался в Москву, прямо в Кремль. И там ему товарищ Сталин крепко руку жал, а товарищ Ежов, привстав на цыпочки, по голове гладил и в плечики целовал.

А грамотей, во дни Ивана Калиты ползучим гадом укушенный, пребывал тем временем в аду, грехи свои выжигал, чтоб ему,

значит, в вечную жизнь чистым, как стеклышко, идти. Полезное, конечно, это дело, но невыносимое. Криком кричит грамотей:

– Осознал все, осознал! На девок теперь вовсе смотреть не стану, даже на самых уродливых.

А пуще всего сокрушался насчет постов и прочего самовольства. Инструктор ему очень толковый попался. Уж так складно разъяснил, что наносящий урон своей душе великий грех совершает, поелику душа его не личной собственностью является, а частью мировой души. Как услышал про это грамотей, пришел в полный ужас. Ведь настоящий правдолюбец чем от ненастоящего отличается? Тем, что он свое правдолюбие к самому себе применяет. Как он завопит на весь ад:

– Подлец я, подлец! Мало еще мне, подлецу, дали! На десять тысяч лет надо было в самое пекло закатать!

Он же не в пекле пребывал, а в области высоких температур.

И тут инструктор ему и говорит:

– Ну, поздравляю тебя, идешь под частичную амнистию. Снимаются с тебя одна тысяча четыреста семь лет.

Грамотей обалдел, а потом говорит:

– И все?

– А больше не положено. Пятьдесят процентов, а больше – ни-ни. Здесь все по-честному. Теперь наша задача – полное снятие судимости.

Только грамотея с этого дня как подменили. Гореть – горит, а покаяния – никакого.

– Невыносимы мне, – говорит, – адские мучения. Все силы отбирают, каяться – нечем.

Лазейку ищет, хитрец, чувствует, есть она, лазейка. И взял-

таки измором инструктора своего. Московский грамотей – он, и в аду оказавшись, изловчится всем нервы истрепать.

Говорит ему инструктор:

– Вообще-то есть еще способы срок скостить. Можно опять там родиться, – тут он кивнул в нашу сторону. – В России, например, очень выгодные условия, один год за двадцать засчитывается.

– Так что ж ты до сих пор молчал? – возмутился грамотей.

– Тебя жалеючи молчал, грамотеюшка. Тот свет – опаснейшее место, – это он так нашу действительность величал: «тот свет». – А вдруг ты оттуда с новым сроком вернешься? Представляешь, сколько нам придется тут коптеть?

– Рискну всенепременно, – заявил грамотей.

Вот начали его в дорогу собирать. Перво-наперво, значит, встал вопрос материального обеспечения. Нужно было найти добрых людей, которые бы плоть и кровь организовали, а самое главное – содержали бы на первых порах, а не спихнули бы сразу в сиротский приют. Понятно, с таким делом к чужим людям обращаться не вполне удобно, а лучше к родне. А у грамотея за пять-то веков потомства набралось – тьма. И все такие важные, ученые, и фамилия у них соответственная – Богословские. Грамотей даже засмутился: к Богословским, да прямо из адского пламени, неделикатно как-то. Но оказалось, что от этого благородного древа отделилась еще при Алексей Михалыче плохонькая ветвь. Впали они в нищету и в крепостную зависимость, а на данный момент проживали в захудалой деревеньке верстах в полутора от Москвы и фамилию носили самую что ни на есть подходящую – Кочергины. К ним-то и

определили нашего грамотея.

Случилось это в то самое время, когда наступала великая и страшная година, которую так ждал трехголовый змей. Тряхнуло землю так, что Кочергины в Москве оказались. Той же, так сказать, сейсмической волной туда их вынесло.

Поселились поначалу в подвале. Там и грамотей родился. Сыровато в подвале, а Ванька (так его называли) ужасно радуется.

Истостили его высокие температуры, любая прохлада для него благодать.

Потом на чердак перебрались – он еще больше радуется. С чердака всю Москву видать – одно загляденье.

Наконец, комнату дали – в настоящей квартире! Правда, прежним хозяевам она кладовой служила, и въехали они в эту комнату вшестером, да когда бы они еще в такой квартире оказались, Кочергины-то? Краны медные, ванна мраморная, батареи, печку топить не надо! Этому Ванька особенно радовался. Он с рождения печки терпеть не мог.

А Богословских-то, почитай, каждый год то сажают, то расстреливают. Это им ученость ихняя боком выходит во всех смыслах. То в правый бок уклоняет, то в левый. Так вот они качаются, как пьяные, и во всем друг дружку обвиняют, словами бранят самыми непотребными – ревизионис-с-ты! оппортунис-с-ты! Понятное дело, за такие слова отвечать приходится. Вот они и отвечают по высшей мере. Одно хорошо, что много их, всякий раз на развод остается.

А Кочергиным и горя мало, они про все про это знать не ведают. Богословские тоже ведь про них ничего не знали, как они мыкались при крепостном праве. Зато теперь их всех подряд

грамоте учат, и деток, и отца с матерью, и старенькую бабушку. И все очень довольны. И даже двухголовые-трехголовые, что в Кремль заползли, ничему этому не препятствуют, а взирают благосклонно. Чем больше грамотных, тем выше процент грамотеев, а у них и кровь погуще, и слезы с эдаким отливом, почти как у детей.

Ну, Ванька, стало быть, одним махом все науки превзошел, вышел в большую жизнь. Идет – и до того ему все нравится! Ликует, да и только. И до того он ликованием переполнился, что оно из него поперло. И все стихами, складными такими, красивыми. Переписал он их в тетрадку, да и отнес редактору. Редактор прочитал – восхитился. Велел он машинистке те стихи перепечатать, и бегом к Михалке Сергееву.

А Михалка к тому времени над всеми грамотеями-стихотворцами поставлен был самым главным. А допрежь того он сам стихотворцем заделался. Стихи у него, правда, получались никудышные, совсем не такие, как у настоящих грамотеев, но он и тут извернулся.

– Это, – говорит, – с умыслом так написано. Чтоб детям малым понятно было.

Вот с этих пор завелись на Руси умышленно детские стихи, раньше о них слыхом не слыхивали. А все Михалка. Уж очень его к детям тянуло. Но и грамотеев настоящих ценил высоко, потому-то пришлось им дорогой ценой оплатить оное грамотейство – кровью своей и слезами. Один только отыскался из них Максимьян-грамотей, который заявил:

– Не напьются они моей крови, и слез моих тоже не увидят.

Ушел он из Москвы куда глаза глядят и дошел до самого

синего моря. Там он и остался. Днем и ночью плакал о друзьях своих покинутых, да слезы его в море-окиян падали, а тем гадам не достались. Этого Максимьяна-грамотея друзья в шутку Волошиным прозвали за то, что у него была большая копна волос, а Волошину, как известно надлежит быть совершенно лысу.

Так вот, приходит редактор с теми стихами к Михалке Сергееву, говорит с гордостью:

– Вот, новый поэт объявился, из самой народной гущи. Зовут Иваном Кочергиным.

Михалка только взглянул, аж зачмокал от радости, даже головы, под пиджаком спрятанные, и те причмокнули. Ванька-то, получалось, сам на себя донос составил. Он-то думал, что красоты родины воспевают, да получилась у него эта родина белой-пребелой, поскольку зимний пейзаж ему ближе к сердцу был. Да и летом его тянуло больше к такому, что снег напоминает, к ромашкам там и хризантемам всяким.

А год шел из тех тридцати семи лет самый, что ни на есть, тридцать седьмой. Объявить кого-нибудь белым было даже лучше, чем ревизионистом или оппортунистом.

В общем, богатый был в тот день улов у Михалки-трехголового. Всех посадил, и Ваньку, и редактора, и машинистку. У редактора, между прочим, трое детей было. У машинистки, правда, всего один, но все больше, чем ничего.

Ванька, конечно, долго мучиться не стал, отвык он от этого дела, избаловался. Как-никак целых девятнадцать лет только и знал, что радоваться. Вот он и помер прямо в вагоне и – прямым ходом к своему инструктору. Открывает глаза, спрашивает:

– Ну что, много мне еще накрутили?

– Да нет, представь, себе, – отвечает тот, всего какую-то десятку с копейками.

– Да я ж не то что не постился, я в церковь ни разу не сходил!

– А как ты мог туда сходить, все церкви заколоченные стоят, – смеется инструктор. – Нет худа без добра, Ванечка.

Так и сказал – Ванечка. А прежде никогда по имени не называл. Прежде, вообще-то, его Полуехтом звали.

Вот, значит, помучился Ванька сколько-то времени для приличия – совесть у него какая-то была – и опять туда же просится. Однако встретил решительный отпор.

– Пока тридцать седьмой год не кончится, и думать не могли, – заявил инструктор.

А тридцать седьмой, как известно, без малого тридцать семь лет тянулся, и самые лютые годы еще только подступали. Но Ваньке вполне хватило того, что на его долю пришлось. Вспомнил он, как его брали, да как допрашивали, и решил, что лучше в аду отсидеться.

Но в один прекрасный день пошел тридцать седьмой на убыль. Инструктор, конечно, и бровью не ведеет, делает вид, что ничего не происходит. Да Ванька-то не лыком шит. Не зря же он еще при Иване Калите грамотеем прослыл, чай, поди, не марксизм-ленинизм изучал. Знает он, кого ради «ад преисподний в движение приходит», кого встречают «при входе его» таким манером. А тут уже не один – в такое движение весь ад приходил, что вода из котлов выплескивалась. Не иначе, товарища Сталина привозили, а следом самого товарища Ежова.

Подмигивает Ванька инструктору своему:

– А ну давай-ка поглядим, как там у товарищей Кочергиных с

жилплощадью?

Инструктор только вздохнул. Нет по ту сторону Кочергиных, ни одного не осталось. Все полегли на полях войны.

Притих Ванька. И целый год никуда не просился.

Зато Богословские, уцелевшие по причине великого множества, зажили к тому времени припеваючи. Удалось им наконец ученость свою в правильное русло направить, да так, чтоб не прослыть при этом гадами-приспособленцами. Развернулись они ко всякого рода богословию задом, зато лицом обратились к точным наукам. Все сплошь химией-физикой занимаются, а что сверх этого – для них давно изжитый пережиток. Вот только грамотей наш, когда пришла ему пора родиться, повел себя нахально. Родился аккурат на Иоанна Богослова. Подставил, что называется. Но они сделали вид, что ничего не поняли, Богословские-то, и вообще никакого намека не было, и шарахнули ему такое имечко, чтоб в никакие святцы не влезало, – Электрон. Но про себя подумали, что будут у них еще хлопоты с этим Электроном. И как в воду глядели.

Пришел он в возраст – имя свое полностью игнорирует, физикой-химией заниматься не желает, ведет себя, как распоследний грамотей.

А тридцать седьмой год-то, хоть и кончился, да звон в ушах от него до сих пор стоит. И никто толком сказать не может, что же началось, ежели он кончился. Одни одно говорят, другие – другое, а там, глядишь, третьи вступают и тоже чего-то говорят. И сотворилось на Москве такое, чего от веку не бывало: три власти зараз заместо одной. Но чтоб народ вконец не расстроился – три

власти все равно, что три головы, а москвичи этого терпеть не могут, – прикидываются эти три власти одной-единственной. А народ чувствует, что что-то не так, и все равно расстраивается.

Даже у Михалки-трехголового и то некоторые сложности образовались. Конечно, при его таланте, при даре его бесценном мог бы он перед тремя властями сразу на брюхе ползать и сапоги вылизывать, получилось бы у него, непременно бы получилось. Но, правду сказать, обленился немного Михалка. Уж больно сладко жилось ему весь этот длинный-предлинный тридцать седьмой год. А с наступлением нового времени – еще лучше зажил. С ведьмой полностью расплатился, еще с полстакана самого крупного жемчуга себе оставил, на запонки там, на булавки для галстука. А уж мелкого столько, что девать некуда. Отхожее место мелким жемчугом изукрашивает. И очень ему хочется, чтоб сладкая эта жизнь не просто долгой была, а длилась вечно. И вот, чтоб обезопасить себя на любую перспективу – ближнюю и дальнюю – и не надорваться, решил он всех перехитрить и оборотиться тремя Михалками вместо одного. Скинул он пиджак, отпочковал боковые головы и – готово дело. Стоят перед ним два новых Михалки, а в сумме их трое получается. И дал он им разные фамилии, чтоб не подумал кто, что они родственники. Одного назвал Михалкой Никитиным, а второго, поплоче, Михалкой Каланчевским.

Стали они решать, кто чего из себя представлять будет. Главный Михалка, центральный, так и остался невозмутимо стоять на прежнем фундаменте. Все вокруг орут, вопят, клянут товарища Сталина на чем свет стоит, а он и глазом не моргнет: да, дескать, многим обязан товарищу Сталину и благодарен ему весьма. Вот о товарище Гитлере предпочитал помалкивать, мы, во всяком случае,

не слышали. А ведь и тому был обязан премного. Немало жемчуга насыпал тот товарищ в Михалкины закрома.

Михалке Каланчевскому, завалящему, досталась роль гражданина мира. Так сказать, ширина за счет глубины. Хотели его даже евреем сделать, но, убоявшись хирургического вмешательства, так и остался он недоделанным.

А вот Михалке Никитину было приказано явить в своем лице все лучшее, что было на Руси исконного, заемного и вновь сотворенного от Ивана Калиты до Судного дня. И как же солоно пришлось всем тем, в ком это лучшее проявлялось само по себе, без Михалкиного соизволения, очень солоно пришлось. Убивать их не убивали, – Никитин все время подчеркивал, что у нас-де не тридцать седьмой год, – но числили как бы все не родившимися. Все, что им оставалось, так это дожидаться Судного дня.

И тут, откуда ни возьмись (мы-то с вами знаем, откуда он взялся), сваливается всем на голову Электроша Богословский. И что выделяет! Хоть святых вон выноси, да их уж загодя всех повыносили.

Всюду рыщет, правду ищет. Это в Москве-то. Да тут, ежели у кого есть она, правда, он ее так запрячет, чтоб никто не нашел. Зато неправда на каждом шагу, ворохами, ногу поставить негде. Вот Электрон без конца на нее натывается да об нее спотыкается. И все разоблачает, разоблачает, да с таким жаром, не зря же столько времени провел в высоких температурах.

Ему говорят:

– Ты тридцать седьмого года не видел. Не знаешь, что мы пережили. Мы друг с другом разговаривать боялись. А теперь к нам иностранцы в гости хаживают. Ну хочешь, мы тебя на

иностранке женим? Будешь за границей жить, раз тебе здесь все плохо.

А он в ответ:

– Плевать я хотел на вашу границу. Вам эта граница дороже Царствия небесного. (Что правда, то правда, есть такой грех за москвичами.)

Тут ему как вожжа под хвост попала, орет:

– Я вообще из прынцапа и всем назло за пределы Российской Федерации шагу не сделаю.

И не поймешь, то ли у него в подсознании застряло, что в России условия самые выгодные – год за двадцать, то ли это инструктор с той стороны его подстраховал, он ведь тоже заинтересован был, инструктор-то, чтоб Электроша зря время не терял. Во всяком случае, как сказал, так сделал. Уж как его звали в Коктебель поехать! Мода была такая у москвичей – ездить в Коктебель, чтоб грамотеями прослыть. Так он наотрез отказался, потому что на этом Коктебеле ясно было написано: УССР.

Тогда ему говорят:

– Ну хорошо, ты все ругаешь, разоблачаешь, а пользы никакой. Сделай так, чтобы польза была, ну хоть бы тебе самому. Под письмом каким подпишись или в акции поучаствуй, пусть тебя посадят по крайней мере. И тогда о тебе по всем радиостанциям возвестят, и весь мир выступит в твою защиту. А мы будем тобой гордиться и посылки для тебя получать.

А он как закричит:

– Не буду я с этими мерзавцами подписываться. Они только тем недовольны, что денег и славы на всех не хватает.

На это ему возразили:

– То, что ты говоришь – ужасно. Эти люди – ум, честь и совесть нашей эпохи. – И тут же заткнули уши со страху, что Электроша сейчас заорет:

– Никакие не ум, честь и совесть, а шизофреники бесчестные-бессовестные.

Но он ничего такого не сказал, а, наоборот, очень вежливо спросил:

– Почему же вы тогда вместе с ними не подписываетесь?

– А мы считаем, что их усилий вполне достаточно. Не нужно ничего ускорять. Мы за постепенное развитие. Пойми ты, – и тут переходили на свистящий шепот, – мы же на пороге многопартийности. И власть у нас не одна, а целых три. Они только прикидываются одной, чтоб народ не расстраивался. И это, как в зеркале, отражается в литературе и искусстве.

Вот, например, Михалка Сергеев – остался верен тридцать седьмому году, и никто его за это не преследует, напротив, уважают даже за верность идеалам.

А тезка его, Каланчевский! Открыто исповедует либеральные ценности, и никто ему никаких препятствий не чинит.

А уж Михалка Никитин! Какое сочетание традиций и новаторства!..

– Вот-вот, – перебил Электрон. – Вот этими тремя Михалками я и собираюсь заняться в самое ближайшее время. Они давно уже у меня на подозрении. А что касается этой вашей власти, которая вместо трех – одной прикидывается, то по-моему здесь все в корне наоборот. Уж очень она смахивает на гидру трехголовую, которая две головы отпочковала, чтобы таких вот умников дурачить, а на самом деле они единое целое.

Бедный Электроша, конечно, выражался образно, как свойственно грамотеям. Но как нередко у грамотеев случается, говорил образно, а попал в самую точку.

Развязка последовала очень скоро. Ему, правда, звонили пару раз, предлагали что-то маловразумительное, но уж, конечно, не от Михалки это исходило. Он ерундой никогда не занимался.

Вот однажды возвращается Электрон домой под вечер, вышел из лифта, а на площадке стоят трое в пиджаках. Вдруг они рывком натянули пиджаки на голову, схватили Электрона и ударили его затылком о ступени. Больше он ничего не запомнил. Не любил он такие вещи запоминать.

Ну вот, оказался он, стало быть, известно где, смотрит на своего инструктора и думает:

– Какие же у него глаза светлые, и взгляд такой проникновенный... А как врубит сейчас на всю катушку!

– Ну? – спросил Электрон.

– Что – ну?

– Во сколько оценили мои... э-э-э... заблуждения?

– Все покрыла мученическая кончина, – с некоторой даже торжественностью заявил инструктор.

– А в прошлый заход почему накинули? Чем же было не мученичество? – обиделся Электрон.

– Ну, знаешь! – возмутился инструктор. – Чтобы всех, кто под колеса попадает, мучениками объявлять! Да так черт знает до чего дойти можно. Давай-ка лучше займемся тем, что у нас от общей суммы осталось.

Но Электрон, после того, как его мучеником назвали, вконец обнаглел, и с таким остервенением права качал, что инструктору

приходилось поистине адское терпение проявлять. Что поделаешь, одно слово – московский грамотей. Его если в рай пустить, он и там исхитрится скандал устроить.

И вдруг все кончилось. Он еще по инерции пытался выступить с очередным протестом, а оказалось, что все уже кончилось.

Инструктор смеется:

– Ну вот, теперь будешь орать в другом месте. Куда тебе хочется?

Электрон смутился:

– Но ведь год за двадцать только в России?..

– Теперь для тебя не это главное. Ты же у меня теперь чистый, как стеклышко! – И так он эти слова выговаривает, ну прямо с наслаждением. – А то смотри, Богословские теперь и в Америке живут.

– Значит удалось кому-то иностранца обженить! – Тут Электроша выругался, он ведь все еще находился в аду, поэтому мог себе позволить.

– Ну так что? – говорит инструктор.

– Принципиально – в Россию и больше никуда, – отвечивал Электрон.

– О'кей, – сказал инструктор. – Ну, пойду теперь умоюсь, а то закопился я тут с тобой. А ты там смотри, вспоминай, чему я тебя здесь учил.

– Но там же память отшибает, – изумился Электрон. – Там же совсем не то, что здесь. Как же я буду вспоминать?

– Вот так и будешь, потихонечку-полегонечку. Полное снятие судимости, Ванечка, это совсем особое дело. – Тут он окатился водой из бадейки, такой весь беленький сделался, взмахнул

крылышками и улетел.

Богословские тоже в это время переезжали. Они свою квартиру для академиков в том самом доме, где с Электроном неприятность случилась, разменяли на две квартиры для простых людей. И места побольше, и посылки из Америки удобней получать: на чей адрес пришла, тому вся и достается, без всяких размышлений.

Зато во всем остальном, кроме посылок, новые родители нашего грамотея проявляли к загранице полное безразличие. Как только он появился на свет – а случилось это на Полуехтамученика, они вывезли его в северо-восточном направлении от Москвы, поскольку в Москве воздух совсем не тот, а продукты – еще те. Там его и крестили, правда, не по святцам, а по моде – получился Иван Богословский. Что ни говори, звучит чертовски красиво.

Там же, в лесных дебрях, в лицей поступил. Да, именно в лицей, знай наших! Учили в том лицее только самому хорошему. О плохом и не заикались даже. Вот только с историей русской осложнения возникали. Что поделаешь, уж такая история досталась, до полного заикания довести может. Но и с нею сладили, поскольку царизм весьма выигрывал на фоне сталинизма, а сталинизм порой тоже неплохо смотрелся на фоне царизма.

Главное замешательство вызывал текущий момент. С одной стороны, вроде бы, неплохо живется, не померли же до сих пор. А с другой стороны, потому лишь не померли, что посылки из-за границы пока идут. И, может, стоило бы попробовать сделать так, как за границей, да есть ли в этом смысл, когда за границу можно просто взять да уехать?

Понятное дело, что разбираться с такими вопросами лучше в Москве, а не в лесной глухомани. Ваньку же в Москву не пускали – сначала, мол, надо подрасти. Но он так туда рвался, что рос не по дням, а по часам.

Наконец такие силы в себе ощутил, что так в Москву и помчался. Прибежал в самое сердце, остановился, чтоб дух перевести, огляделся – и остолбенел.

Вокруг все двухголовыми-трехголовыми кишмя кишит, и они даже не думают прикидываться и костюмчики на себя напяливать. Так прямо расхаживают и разрезают повсюду, только чешуя блестит да хвосты змеятся. И орел двухголовый опять в гербы подался, ощипанный, правда, не прошла ему даром обработка серпом и молотом. А для Москвы особый герб завели, чтоб никто не сомневался, чья теперь власть. И нарисован на том гербе московском трехголовый змей на двухголовом коне сидящий, Святого Георгия копьем поражающий. И празднуют они свою победу и днем, и ночью – вино рекой льется, столы от яств ломятся, музыка гремит такая, что от нее в той самой области высоких температур чертей затошнило бы, а насчет пекла ничего Ванька сказать не мог, не бывал он в самом пекле.

Наконец он отдышался, пригляделся, видит – есть и в костюмчиках, и они даже поважнее будут тех, неприкрытых. И ездят – хоть и без музыки, зато преспокойно, – в Кремль и обратно. И тут один такой заприметил Ваньку неподалеку от Спасских ворот и прямо к нему направился. Подходит и спрашивает:

– Есть проблемы?

Ванька так опешил, что не сразу понял, на каком это языке.

Зато сразу увидел, что из-под воротника пиджачного на него смотрит вторая голова. Поскольку он чистым, как стеклышко, родился, то у него и глаз – алмаз. Но сообразил не лезть на рожон и сделать вид, что видит только одну голову. Вообще, москвичи напрасно считают, что если у кого душа чистая, так обязательно дурак. Неправы они в этом, и во многом другом тоже.

Первая голова опять заговорила, и так сладко-сладко:

– Можем решить любые проблемы, – и водит глазами по Ванечкиному пригожему лицу, да по фигуре ладной, в заграничные шмотки упакованной. А вторая смотрит злобно-презленно – и прямо в сонную артерию.

Ваня принял самый небрежный тон и говорит:

– Я, собственно, давно в Москве не был и что-то не узнаю прежних жителей. Они что – куда-то подевались?

– Кого-то, может быть, и не стало, – улыбнулась голова, – а те, что остались, вовлечены в новую действительность. И даже называются теперь новыми русскими.

– А старые русские совсем не сохранились? – с трепетом спросил Ваня.

– Ну почему же? Вот мимо нас только что проехал известнейший писатель Михалка Сергеев. Он прекрасно сохранился.

И, заметив, что Ваня все время озирается, двухголовый добавил:

– Если вы хотите поближе познакомиться с новыми русскими, нет ничего проще...

– Но сначала я попробую сам, – перебил его Ваня и, изобразив рукой прощальное приветствие, ринулся прочь.

– Удачи вам! – хором проговорили ему вслед обе головы.

А Ванька прошел через всю Тверскую, дальше идет, вот уже «Аэропорт» показался, вот и дом, в котором Богословские жили когда-то, но никаких новых русских, а старых и подавно. Всё сплошь двухголовые и трехголовые, и всюду музыка гремит по ихнему заказу. Единственным, кто Ване своим показался, был памятник какому-то мужику в кепке, а кто такой, не поймешь, надпись на памятнике разбита, да еще краской залита. Плюхнулся наш грамотей наземь за спиной у того мужика, привалился к постаменту, чтоб немного отдохнуть, а слезы так на глаза и наворачиваются. Но все же решил, что отчаиваться пока рано (правильно решил, самое отчаянье у него впереди было), и разработал некоторый план. Решил дальше не ходить, а, наоборот, вернуться назад, но не тем же путем, а дворами и закоулками.

Вошел он в первую же подворотню, пересек двор, вышел в переулок – и сразу же нашел *их*.

Вдоль низенькой кирпичной стенки стояли большие железные ящики, доверху наполненные зловонным мусором, а *они* сосредоточенно рылись в этом мусоре. У Вани даже тени сомнения не возникло, что это *они*. Ведь это были совершенно новые русские, от старых у них не осталось ничего, кроме страшных зимних пальто с лишайными воротниками, надетых, как ему показалось прямо на голое тело.

У грамотея ноги в землю вросли. Он закрыл глаза, чтобы хоть как-то спастись от этой жуткой картины, но стало еще хуже. Обугленные лица новых русских отпечатались на его сетчатке и своими провалившимися глазами глядели прямо в кристальную грамотееву душу. Тогда он открыл глаза и увидел, что один из них,

а вслед за ним и другой, и третий нашли наконец что-то в мусорных кучах. И не успел Ваня моргнуть, как они принялись *это* есть. Больше уже грамотей терпеть не мог. Завопил он, зарыдал в голос и кинулся из Москвы со всех ног.

Шел он, не разбирая дороги, и плакал навзрыд, и не заметил, как у самого синего моря оказался аккурат в том самом Коктебеле, куда Электрон Богословский категорически ехать отказывался. А теперь в Коктебеле том пустым-пустехонько, забросили его москвичи, другие у них заботы – одни кровь человеческую пьют, другие в помойках роются, некому вспоминать Максимьяна Волошина, не говоря уже о бедном Электроше.

Бросился Ваня на острую гальку, зарыдал еще пуще. И тут слышит какие-то шаги. Оглянулся – подходит к нему мужичок в бороденке, а голова совсем лысая. Присмотрелся мужичок к Ване и говорит:

– А, это ты! И как же тебя теперь величать?

– Иван Богословский, – с некоторой заминкой отвечал грамотей.

Мужичок одобрительно кивнул:

– Красиво назвали. А родился когда?

Ваня назвал точную дату своего рождения.

– Ну конечно, – сказал мужичок, – на Полуехта-мученика. – И безо всякого перехода спрашивает: – Небось из Москвы сбежал?

Ваня кивнул.

– И что же тебе там не понравилось?

– Там змеи трехголовые людей едят, а люди... люди едят... – тут Ваня отвернулся, потому что у него опять слезы из глаз хлынули, и говорить он уже не мог.

Мужичок понимающе хмыкнул и говорит:

– И что же ты делать собираешься? Так и будешь тут сидеть, пока не помрешь?

– Да, – всхлипнул грамотей. – Так и буду, пока не помру.

– Да ладно, будет тебе, – усмехнулся мужичок. – Наумирался уже. Лег бы ты спать, Иван Богословский, утро вечера мудренее.

Привел он его в какую-то хибарку, уложил. Заснул Ваня, как убитый. Проснулся, когда едва рассветало, с трудом сообразил, где он, и опять заснул.

И приснился ему конь белый и на нем белый всадник, имеющий лук. И вышел он, чтобы победить, да только встал за деревьями, притаился.

А Ванька дальше спит, и не поймет, то ли он сон видит, то ли сам себе Откровение Иоанново пересказывает.

Вот и рыжий конь появился со своим всадником. Кинулись тут все вокруг друг друга убивать. Ваня рад бы не смотреть, а приходится. А хуже всего то, что посреди этой бойни снуют и порхают какие-то с довольными рожами, поют, приплясывают, стишки выкрикивают противными голосами.

А потом рыжий конь на ходу в черного превратился, а перед всадником поперек седла, словно красная девица, оказался не кто иной, как писатель Михалка Сергеев. Смотрит Ваня, два других Михалки тоже коня того догнали: Михалка Никитин позади всадника пристроился на конском крупе, а Каланчевский, горемычный, за хвост ухватился и следом трусит.

Дальше смотрит Ваня. И вышел конь бледный. И всадником на нем сам Михалка Сергеев, а на плечах у него целых три головы гордо подняты и смотрят они так страшно, что у Ваньки аж сердце

приостановилось. Но вышел из укрытия белый всадник на белом коне, и пронзил Михалку стрелой, и поразил копьем, и затоптал белый конь коня бледного.

Проснулся Ванечка – и так ему чудно и радостно. Первым делом про лысого-бородатенького подумал:

– Тоже ведь, небось, со снятой судимостью. Не зря он мне Полуехта припомнил.

Вышел он наружу, а мужичка-то нигде нет.

– В Москву отправился, – сообразил Ваня. И тут он спохватился, что и ему надо срочно в Москву возвращаться, родители, поди, с ног сбились, его разыскивая. Но на прощанье побежал еще раз на берег, на море взглянуть и камушков набрать. Он ведь был совсем еще дитя, грамотей-то. Он просто рос очень быстро от жару душевного.

1999 г.